

[Не]исторические наброски

Если уж начинать, так с конца – конца истории. Нет, небо не свернут как свиток и звезды не падают на землю, нечего и надеяться; настоящий конец бесконечен, и нас ждет именно он. История – это не объективная событийность, а один из способов ее мыслить, и именно эта история становится сегодня достоянием истории. Историзм – дитя модерна, история – цивилизации, и вопрос заключается в том, является постмодерн прологом, элементом или синонимом постцивилизации?

Исчезновению истории много причин, и одна из них – исчезновение причинности. Как последовательность сменяется симультанностью, так и причина – партиципацией; отступление исторического есть второе пришествие космо(?)-био(?))-логического(???), второ-первобытного после/до/внеисторического, так что поневоле вспомнишь Леви-Брюля. Была вроде такая идея, что причинно-следственное мышление – коррелят производящего хозяйства: посадил – подождал – выросло. Соответственно, доаграрная присваивающая экономика типа: увидел – съел, есть не слишком подходящая база для мышления, отделяющего следствие от причины хроно-логической дистанцией. И так как не только постмодерн изоморфен премодерну, но и общество потребления – обществу присвоения, то и новое мышление логично пралогично. Чем меньше людей в производстве, чем меньше люди в производстве, тем больше их и они в потреблении; одновременно потребление перестает восприниматься как следствие производства, вещи не создаются через труд, а возникают через магию, искусственное (умышленно созданное) становится естественным (самопроизвольно возникшим), культурная демиургия отступает перед природным волшебством. Где без труда достают из пруда, где стоимости создаются знаками, где производятся разве что потребности, причинам и следствиям делать нечего; это мир неявностей и очевидностей, напряженностей и разреженностей, движений и положений, в котором закон уступает судьбе, а логос – мифу.

С одной стороны, растущая скорость производства/потребления и вообще всех транзакций/коммуникаций пожирает время; с другой стороны, само время из проспективно-ретроспективного превращается в безначально-бесконечное дление, сегодня соотносится с всегда, а не с вчера и завтра. Историческое время мыслится как векторное и мерное, как направление/продолжительность достижения; в отличие от него, натуральное время мыслится не через курс и дистанцию, а через степень интенсивности, правильности и значимости в диапазоне интонированное – атоничное, сакральное – профанное, нормативно заполненное, эманлирующее в регулятивные события/смыслы – аномально густо-пустое,

заполненное недолжным, ненужным и неважным. Для мифологического сознания история суть совокупность того, чего не должно быть, но что, по грехам нашим, все-таки случилось, так что следует ритмично от него избавляться; именно из-за этого недолжного сущего должное не суще – по вине и наказание. Мы сегодня уже не в истории, но еще/уже не в мифе; расстояние между сущим и должным у нас преодолевается не трудом и не ритуалом, а нажатием клавиши. Нашествие истребляющих время гаджетов стремительно сокращает дистанцию между замыслом и исполнением, желанием и осуществлением; некуда проецировать, не на что рефлексировать – и в то же время отсутствия времени нечего желать и незачем воображать. Это не история, где должное впереди и/или позади сущего, и не миф, где первое выше/глубже второго, этому нет, а может, и не будет ни понятия, ни имени, так как если время мы мыслим пространственными дериватами, то чем помыслить его отсутствие? Отныне и навсегда (ныне тождественно всегда, а всегда – ныне): сущее – это и есть должное. Не надо ни создавать, ни возрождать, не нужны ни прошлое, ни будущее: равномерно-концентрично лонгируемое дление исключает архаизм и футуризм. Настоящее есть наличное и нормативное, оппозиции имеющегося/не имеющегося и правильного/неправильного сняты, и вообще, закончилось время бинарных оппозиций и диалектических триад: время – закончилось.

Можно и не так радикально, но тем не менее: если сущее еще и не отождествилось с должным, разрыв между ними непрерывно сокращается, так что социальная критика становится все более натужной. Проект модерна в общем и целом реализован, никакого иного не предложено, в результате – кризис нормативно-проективного мышления по модели: идеал – цель – достижение. (Составная часть – кризис перепроизводства/недопотребления смыслов, ибо обесцеливание ведет к обесмысливанию и безработице смыслопроизводителей; коррелят – имитативный праксис, стимуляция желаний и симуляция удовольствий). Реализация идеалов делает ненужными цели и невозможными достижения, не от чего отталкиваться и не к чему стремиться, потому и отмирает ориентация в системе координат прошлое – будущее. Остающийся зазор между тем, что есть, и тем, что должно быть, не преодолевается целерациональной деятельностью, а заполняется электронно-медийной магией (виртуальная мифология Оно). Социально-историческое (субъектно-смысловое) растворяется в естественно-историческом (мультитьюдно-сенсуальном), где история не исторична, а естество искусственно; стремление родиться обратно, перестать быть собой через отличие от иного, проклятия логосу/фаллосу – все одно к одному.

Любопытно, обратил кто-нибудь внимание на корреляцию между разложением генетико-этиологического объяснения/мышления и массовым распространением/повседневным использованием контрацептивов? А

ведь можно вспомнить и искусственное оплодотворение, и контрактное вынашивание, да мало ли еще что! Секс без деторождения, деторождение без секса – действия без следствий, события без причин. Одна модель – что удовольствие без воспроизводства, что потребление без производства. Прежде-то как: действие/причина – временной лаг/логическое следование – продукт/последствие, на какой-то хронокаузальности и выросли история/историзм; но рабы порвали цепи и вырвались на свободу – свободу от истории.

(В принципе, дело-то житейское: народ не любит истории, ибо она мешает иметь ему такое прошлое, какое он в каждый данный момент желает. История лишает людей возможности самим создавать себе прошлое; эта история историков, размахивающих своими бумажками, шумящих о каких-то свидетельствах и доказательствах, есть всегда нечто навязанное – кто дал им на это право?

Vox populi примерно таков: нам не нужны ваши даты и факты, имена и названия, мы хотим знать не то, что случилось, а то, что должно было быть [и есть, и будет]. Вы всё норовите заменить наши мощные конструкции своими убогими реконструкциями, вы хотите подменить то, во что мы верим, тем, чего вы не знаете; вы не умеете говорить как власть имеющие, всё сомневаетесь и пытаетесь заставить сомневаться других, сделать всех такими же не уверенными ни в чем и ни на что не способными, каковы сами. Нам нужны догматы и деяния, а вы предлагаете скепсис и рефлексию; мы ждем сурового приказа и великой жертвы, а вы бормочете о свободном выборе и разумном решении; мы жаждем от вас возвышающей правды, а вы пичкаете нас унижительной истиной.

Нет, люди хотят другого и других – кто расскажет им, что они хорошие, потому им и плохо, тогда как тем, плохим, оттого и хорошо; народу нужны не историки и философы, а мифографы и идеологи, те, кто помогает гордиться собой, а не те, кто заставляет себя стыдиться. И это правильно; неправильно то, что не все это понимают, и самые непонятливые те, кто не все. Глупость умников поразительна, эти неистовые неверующие истово веруют, что знание важнее желания, а сущее неподвластно должному; этой секте никогда не стать церковью).

Многое лежит на поверхности: деградация историзма – очевидный коррелят разрушения мировоззрений от христианства до гегельянства: прогрессизма, эволюционизма, позитивизма, романтизма, национализма и т.д. и т.п. Можно вспомнить и окончательную победу масс с их извечно аисторическим пра-мифологизмом, и исчезновение политического заказа со стороны рухнувших режимов, идеологически легитимировавших себя как неизбежно-наивысший результат «объективного исторического развития». Постмодерн опять же, где [исторический] текст есть не сообщение о событии, а событие сообщения; консюмеризм, предписывающий потребление/уничтожение и предотвращающий хранение/наследование (вещи

больше не консервы и консерванты времени, они его репелленты и аннигиляторы; товарный профицит делает культуру хранения и передачи по наследству бессмысленной и дискриминируемой, тем самым рвется связь предки – потомки); экономический порядок, построенный не вокруг накопления, связывающего прошлое с будущим, а вокруг коммуникаций в режиме реального времени (реально теперь только настоящее), где сегодняшней доход не является ни следствием вчерашнего, ни причиной завтрашнего, и так как не только заработок не переводится в капитал, но и прибыль – в ренту, рвется связь времен, отцов и детей *et caetera*.

Человека влечет не к тому, что в избытке, а к тому, что в недостатке; лет двадцать пять назад меня тянуло к истории, сейчас – к футурологии, и это футурология конца истории. Дело в том, что сегодня основой футурологии становится культурантропология: любая модель постисторического будущего должна опираться на реконструкцию доисторического прошлого, – в этом отныне и заключается задача истории. Постисторическое аналогично, эквивалентно, изоморфно доисторическому; послеистория и доистория едины в том, что это не история, их отличие от истории больше, чем друг от друга. Сегодня начинается то, что можно обозначить как осевое время наоборот – закрытие [моральнорациональной] личности, возврат от антропосоциального личностнообщественного к космобиологическому дисперсносубъектному, к старой/новой (новой старой) природно-естественной истории-не-истории, до-послерелигиозному магизму и мифологизму. Постиндустриальное общество в этом плане подобно доиндустриальному (а по ряду моментов – и доаграрному); социокультурная специфика его такова, что заставляет вспомнить о сельской общине (а то и о первобытном сообществе). Здравствуй, новая деревня – может, пока и не глобальная, но, действительно, электронная; *tribal drums* рокочут всё громче и всё более угрожающе. Ведь дело не в том, какая она, а в том, что она – деревня; электронные мужики и электронные бабы живут в электронной деревне, и эти неокрестьяне удивительно похожи на своих доиндустриальных предшественников.

Действительно, крестьянин – это непрофессионал и антиспециалист, он сам себе производитель и потребитель, исполнитель и руководитель; работа и дом, жизнь и труд у него едины. Он живет в нерасчлененно-паратактивном, унитивно-аддитивном мире, социокультурный континуум его жизнепроживания – это, вспоминая Спенсера, сфера однородной бесвязной неопределенности. Вся структурно-функциональная социология доказывала, что развитие суть движение от единства к целостности, выражающееся во взаимности дивизации и комбинации, дифференциации и интеграции, специализации и кооперации; противоположный этому вектор «вторичного смесительного упрощения» понимался, естественно, как регресс. Тип деревни – результат *additio*, города – *integratio*, первая – сумма монад, второй – система элементов; исходя из всего этого, движение от

шпенглеровского мирового города к маклюэновской глобальной деревне иначе, как упадком (не в аксиологическом, а в аналитическом смысле), не назовешь.

Специальности и профессии умирают – функции остаются, но институты уходят (тем более, что речь все чаще идет о потреблении, а не о производстве), дюркгеймовское разделение труда сменяется объединением (если не исчезновением), социум утрачивает структурность и приобретает гомогенность; *fantasyreality* электронных инфодельцев и глобальных номадов, психоэкономики, индустремагии, медиамифологии. Информационное общество – это никак не общество знания: ценность обратна пропорциональна доступности, и если информация перестает быть редким и ценным ресурсом, допуск к которому тождествен членству в элите, а превращается в основное средство производства, эксплуатирующего массы офисного пролетариата (привилегия меньшинства стала повинностью большинства), то надежды на дальнейший растущий культ знания есть печальный пример ложного сознания, выдающего желаемое [интеллектуалами] за действительное. Культ, конечно будет, но не знания, а не-знания: редким/ценным будет то, что не является знанием, даже если это знание культа. Востребованность отныне обратна пропорциональна информативности: самым взыскуемым, дорогим и престижным будет то, что по своей природе не есть знание, что предельно инаково знакам и значениям, символам и смыслам. Это нельзя повторить и воспроизвести, оцифровать и загрузить, считать и распечатать, скопировать и растиражировать; оно не в пространстве, а во времени, его не знают – им живут. Короче говоря, речь идет о неком опыте, принципиально не могущим быть [адекватно] вербализованным, артикулированным, текстуализованным, кодированным, информатизированным, об опыте асемическом и асемантическом, в самом первом приближении – мистическо-магическо-мифологическом. Вера без писания, исповедание вне логоса: миф, невычленимый из ритуала, смысл, растворенный в экстазе; новая элита – не жрецы, но шаманы.

Вспоминая Тоффлера: разрушение иерархий, рост разнообразия – всё оно, конечно, так, но всё не так просто. Со всем уважением – в отличие от некоторых, у кого слов модных полный лексикон, кто насыпает в свои тексты, как горох в погремушки, всевозможные поля, пространства, потоки, сети, стратегии, игры, языки, роли, риски, опции, ресурсы, коды, и трясет этими трещотками, радуясь производимому шуму, Тоффлер сорок лет пишет одно и то же об одном и том же, и это позиция. Однако путь от иерархии к сети, от стержня к ризоме, а затем и к перекасти-полю суть ничто иное, как [неполное] описание деструктуризации, утраты системной сложности. А что касается роста разнообразия, то он тождествен росту однообразия, – немного диалектики: чем больше различий, тем меньше отличий, ибо если нет стандартов, то нет и нестандартностей. Два телеканала сильно отличаются друг от друга, двести – меньше, две тысячи – вообще неразли-

чимы. Три тысячи – это меньше, чем три: 3 сорта, товара, стиля, теории, партии различаются, 3000 – нет. Но это не главное: главное то, что в отсутствие нормы невозможно быть ниже, выше, впереди, сзади или сбоку от нее – нельзя быть ни нормальным, ни ненормальным. Нельзя быть оригинальным там, где нет оригинала, невозможно творить в отсутствие нормативных образцов, без запрета не стать свободным.

То же касается и хронической проекции разно/однообразия: чем больше изменений, тем меньше изменение – если изменяется все, то все неизменно. Развитие начинается там, где заканчивается изменение; лишь тогда, когда некоторое состояние стабилизировано и зафиксировано, появляется возможность отличиться от него через изменение. Именно таким предельно (сравнительно) разнообразным и изменчивым был мир доцивилизационной архаики, то самое «традиционное общество», на которое модерн спроецировал самого себя: образец и неизменность были должным, а не сущим, к ним так тянулись потому, что не имели, не обладая необходимыми для этого know-how (письменностью и пр.). И именно таков мир постмодерна, этого неотрадиционного общества (чем меньше традиций, тем меньше новаций и тем больше традиции, обеспечиваемой бесконечными новациями): здесь не от чего отталкиваться и потому не к чему стремиться, здесь столько различия и изменения, что все неразлично и неизменно.

Цивилизация суть система, основанная на разнице потенциалов, на силовом взаимодействии притяжения/отталкивания между точками стяжения, концентрации (людей, власти, знания, производства, потребления и всевозможных иных функций и институтов) и пространствами растяжения и разря[Е]жения, между полным и пустым, сильным и слабым, интонированным и атоничным, интенсивным и экстенсивным. Мы же погружаемся в гомогенный и гомеостатичный мир постцивилизации, который естественно подобен доцивилизационному, где электронный человек, аналогично дописьменному/допечатному (привет Маклюэну), не имеет кредо, позиции, точки зрения, убеждения и пр., не может быть ни за, ни против. Здесь проблема не в том, чтобы быть иным, а в том, чтобы быть одним, ибо трудно стать кем-то, не отличаясь от кого-то (быть собой – это не быть другим, и ты тем толерантней к другому, чем меньше являешься собой; это человек модерна боролся за свободу быть собой, человек постмодерна борется за право быть хоть кем-то). Отказываются работать все базовые оппозиции: официальное – частное, личное – публичное, реальное – воображаемое, старое – новое, свое – чужое, оригинальное – заимствованное, авторское – фольклорное, – можно продолжать на несколько страниц. Наши понятия перестают ухватывать реальность, мы упираемся не в стену, а в пустоту; *время менять имена.*